



УДК 821.161.1.09«1992/...»
ББК 83.3(2=Рус)6-3

ТРИАЛЕКТИКА, ЗАКОНЫ ФАНТАЗИИ И ЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ПОЭЗИИ Н. КЛЮЕВА

В.С. Воронин

Статья посвящена рассмотрению моделей многозначной логики в лирике Н.А. Клюева. Рассматриваются различные виды отрицания неопределенностей и взаимодействия противоположностей, соответствующих различным логическим системам. Показано соответствие художественной картины мира триалектическому образу пространства – мира – движения.

Ключевые слова: законы фантазии, неопределенность, многозначные логические системы, триалектика, уравнение противоположностей.

Триалектика возводит в принцип житейское правило золотой середины, а в философском аспекте акцентирует не борьбу противоположностей, а их гармонию, взаимодействие или некий компромисс. Среднее звено всегда определяет точку приложения сил тех или иных исторических возможностей, действующих на связку противоположностей в целом. В историко-философском отношении триалектика воскрешает забытую между линиями Демокрита (материализм) и Платона (идеализм) линию Парменида, согласно которому «мышление и бытие одно и то же» или «одно и то же мысль о предмете и предмет мысли. Это можно понять как то, что бытие и мышление тождественны и как процесс, и как результат... и как утверждение, что предмет и мысль существуют самостоятельно, сами по себе, но что мысль – лишь тогда мысль, когда она предметна, а предмет тогда лишь предмет, когда он мыслим» [13, с. 218]. Материализм и идеализм прибегают к такому принципу фантазии, как разделение единого объекта на части, на составляющие его признаки, линия Парменида, напротив, устанавливает связь между различными объектами.

В литературе, в художественном мире произведения Творцом оказывается сам автор, однако он никак не свободен ни от традиций

предшественников, ни от материи языка, на котором пишет. Поэтому понятна принадлежность литературного произведения сфере триалектики, третьей линии Парменида. Мысли автора реализуются в художественном мире и составляют с ним определенное единство. В одном из самых ранних лирических разочарований Клюев в духе С.Я. Надсона напишет: «Не сбылись радужные грезы, / Поблекли юности цветы» [5, с. 77]. «Житейская суета», разрушающая «идеалы красоты», оказывается определяющим началом. Обратного хода вещей и явлений не бывает, надежда на возрождение идеалов тщетна, но возникает мысль об изменении самого себя: «Мне нужно вновь переродиться, / Чтоб жить, как все, – среди страстей, / Я не могу душой сродниться / С содомской злобою людей» [там же]. Нетрудно видеть, что автор акцентирует противоречие. Желание жить «как все», подстроиться под других вступает в острый конфликт с душевной организацией героя. Противоречие неразрешимо в рамках двоичной логики. С точки зрения законов фантазии происходит раздвоение лирического субъекта: внешняя оболочка может жить людскими страстями, а душа нет. Диалектика требует сказать о единстве и борьбе противоположностей. Триалектика подчеркивает взаимопревращение мыслей героя в нечто объективированное в художественном мире. У Клюева происходит разделение первоначально недифференцированной среды людей. Выделяются «светила мудрости», к которым лирический

герой обращается с вопросом об окончании мук и слез на земле.

Триалектика, естественно, требует троичной логики, где между полюсами противоположностей размещается неопределенность. Неопределенность пронизывает разнообразные формы познания реальности. Есть она и в физике. Как пишет В.В. Налимов, «физикам пришлось признать, что физическая пустота не есть еще абсолютное ничто. Иначе говоря, ничто и нечто не разграничиваются категориально. Есть некое промежуточное состояние, с трудом схватываемое нашим воображением» [9, с. 70]. Но дело в том, как раскрывается это промежуточное положение: соответствует ли это раскрытие истине, лжи, или вновь оставляет неопределенность на своем месте? Нам уже приходилось писать, что «все три вида отрицания неопределенности мы находим в известной эпиграмме Пушкина на графа Воронцова: “Полу-милорд, полу-купец, / Полу-мудрец, полу-невежда / Полу-подлец, но есть надежда, / Что будет полным наконец”. Если отбросить приставку “полу”, то в случае “полу-мудреца” эта операция приведет к истине, в случае “полу-подлеца”, “полу-невежды” – к ложному результату и в случае “полу-милорда”, “полу-купца” – к неопределенному результату на шкале этических ценностей. Мы ведь не знаем, хорошими или плохими людьми являются купец или милорд» [3, с. 223–224]. У Клюева анализируемое нами стихотворение раскрывает неопределенность как ложь или как возвращение к неопределенности, относимой теперь к будущему времени.

В поэзии, как и в философии, сильна жажда поставить завесу неопределенности между жизнью и смертью. Эта граница у Клюева, как и у многих поэтов, не является полным концом. Но парадокс клюевской поэтики в том, что исчезновение человека из мира не лишает последний полноты и законченности. В «Избятных песнях», посвященных памяти матери, реальное отсутствие хозяйки компенсируется воскрешением прошлого:

Лежанка ждет кота, пузан-горшок хозяйку –
Объявятся они, как в солнечную старь,
Мурлыке будет блин, а печку-многознайку
Насытят щаный пар и гречневая гарь [5, с. 233].

Эта насыщенность избяного мира, совпадение желаемого будущего и прошлого обна-

руживает свою мнимость. Лирический герой называет это воспоминание «напрасным сном». Иллюзорное возникновение объектов сменяется их реальным исчезновением. Нет крошек для курицы, «хозяйка в небесах, с мурлыки снята шапка». Однако Клюев никогда не остановится на этом опустошенном мире. Возникает второй сон и снова следует возрождение полноты бытия: «Лишь в предрассветный час лесной снотворной влагой / На избяную тварь нисходит угомон, / Как будто нет Судьбы, / И про блины с котягой, / Блюда печной дозор, шушукает заслон» [5, с. 234]. Таким образом, происходит взаимообратимое расширение и сужение реального и воображаемого мира. Противоположные начала предстают в уравновешенном чередующемся цикле смерти и возрождения, реальности и иллюзии, бодрствования и сна.

Во внутренний печальный мир избы врывается внешняя радость. Это циклическое оживление природы с приходом весны («Осиротела печь, заплаканный горшок...»), «Зима изгрызла бок у стога...»). Иногда это выходцы из сверхъестественных миров: ангел, садящийся за прялку («“Умерла мама” – два шелестных слова...»), сама мать, являющаяся с того света «бесплотной гостьей», «пречудный святитель», («Весь день поучатися правде твоей...»).

Напротив, именно со смертью начинается ряд существенных преображений мира. Так это в «Белой повести», посвященной памяти матери. Рядом с автором находится с некое загадочное Оно, то ли детство, то ли сущность мира, его пульсирующий нерв: «Где мозг мирозданья прячется, / Туда меня кличет Оно». В художественном мире запечатлено странное движение времени: начавшись в прошлом «лет двадцать назад», проходя через «лет десять назад», оно доходит до сегодняшнего дня и вдруг отскакивает далеко назад: «То было сегодня... Вчера... / Назад миллионы столетий». Вероятно, Оно – это некое универсальное время, включающее в себя что было и что будет: и преджизненное, и послежизненное бытие человека. Каскад сказочных превращений рисует перед нами поэт: «Конь лавку копытом задел, / И дерево стало дорогой, / Путем меж алмазных полей, трубящих и теплящих очи, / И каждое

око есть мир, / Сплав жизней и душ отошедших» [5, с. 306]. Превращение коня в лавку описано еще в пушкинском «Гусаре», но здесь разворачивается превращение частной детали в дорогу меж миров человеческих душ, живых и ушедших. Бытие становится многосвязным пространством, в котором каждая частичка претендует на сверхцелое. Оно изгоняется мирами: «“Изыди”, – сказали Миры, / И вышло Оно на дорогу...». Однако выход на дорогу, от миров, все-таки оказывается дорогой к ним: «В миры меня кличет Оно / Нагорным пустынным сияньем» [там же, с. 307]. Модель такого мироздания может быть представлена триалектическим торсионом П.Я. Сергиенко, в плоскостном изображении, представляющем собой опрокинутое восемь, знак бесконечности.

Во многом Николай Клюев – поэт крайностей, что было отмечено Блоком, заметившим, что «иногда в нем что-то словно ангельское, а иногда это просто хитрый мужичонка» (цит. по: [1, с. 324]). Ничуть не смущаясь, в «Гагарей судьбине» он напишет о любви к себе красавца Али, возникает перевернутый бунинский мотив: «Позже я узнал, что он искал меня по всему Кавказу и Южной России и застрелился от тоски» [6, с. 534].

В лирическом субъекте Клюева борются староверчество и своеобразное язычество, городское и деревенское мировосприятие, не чужды ему и коммунистические идеи, которые он тоже связывал со старообрядческой церковью. Он нарисовал далекий от хрестоматийного глянца образ В.И. Ленина: «Есть в Ленине керженский дух, / Игуменский окрик в декретах, / Как будто истоки разрух / Он ищет в “Поморских ответах”» [5, с. 377]. Вождем революции, по словам поэта, «вихрь и гроза причислены к ангельским ликам». Однако в этом стихотворении в целом, приемлющем революцию, есть над чем поразмыслить. Поэт обращает Смольный не в центр рождения нового мира, а в центр похорон: «Есть в Смольном потопки трущоб / И привкус хвои с костяником, / Там нищий колодовый гроб / С останками Руси великой» [там же, с. 378]. Таким образом, если обрисовка Ленина дана в положительно-утвердительных тонах, то центр революции становится центром смерти, и это положение дел распространяется на

всю страну, где «тоскует народ в напевах татарско-унылых» [5, с. 378]. Смольный – одновременно и рождение чего-то нового и неслыханного и смерть «Руси великой». Здесь нет особенного прославления революции, зато хорошо подана ее трагическая составляющая. А вот в «Ленине на эшафоте» полководец революции представлен двойственно. У него «два траурных солнца – зрачки», навевающие тоску на журавлей, отбрасывающие свои тени на космическое пространство: «И недаром созвездье Оленя / В Южный Крест устремило рога... / Не спасут заклинанья и пени / От лавинного злого врага» [там же, с. 514]. Созвездье Оленя, ранее выделяемое в северном полушарии, точно устремить рога в созвездие Южного креста не могло хотя бы потому, что время ночи Северного полушария совпадает с временем дня Южного. Очень характерно, что созвездье Оленя современными астрономами не выделяется, хотя на небе, конечно, присутствует. Южный Крест избежал подобных ревизий и устоял. В метафорическом смысле атеистическая атака на религию, предпринятая в России XX века, провалилась. Неясно, кто является лавинным врагом: Ленин или противостоящая ему стихия. Двукость победы становится особенно ясной. Когда автор говорит: «Муравьиные косные силы / Гасят песни и пламя знамен... / Волга с Ладогой – Ленина жилы, / И чело – грозовой небосклон» [там же, с. 515], то становится непонятным, какая из противоположностей берет верх, мещанская косность или все-таки революция. С одной стороны, автор рисует Ленина как олицетворение изобилия («Ленин – птичья октябрьская тяга, / щедрость гумен, янтарность плодов» [там же]), с другой стороны, как человека, выходящего на казнь и сметающего все окружающее. В метафорическом смысле время этой казни пришло на исходе XX века, ну, а народ пел свои частушки типа: «Зарезали мерина – поминали Ленина», по словам бабушки автора этих строк, еще в середине двадцатых годов. Только и сказал председатель сельсовета, что так петь нельзя. Глас народа – голос Божий. Беспощадный суд с намеком и на личную бездетность Ленина, и, возможно, на бесплодность всего затеянного дела, и, возможно, на предугадывание скорого вступления в колхоз, когда

дружно принялись резать свою скотину, чтобы она не перешла в общее владение. Можно сделать вывод, что и в политических стихах Клюева вопрос «кто кого?» хотя и ставится, но не решается в рамках двузначной логики. Противоположности совпадают. Вот как об основной философской идее А. Эйнштейна написал Дж. Уилер: «Его давняя мечта, так и не осуществленная им на протяжении всей его жизни и к осуществлению которой не приблизились еще и сегодня, может быть выражена древним изречением: “Все есть ничто”» [12] (цит. по: [9, с. 181]). Здесь А равно не-А. Среди простейших трехзначных логик этой модели с допустимостью неопределенности для противоречия и равенства противоположностей отвечает логика Лукасевича, с некоторой вероятностью обеспечивающая цикл чередования упадка и возрождения. Прочитав Уилера, В. Налимов спрашивает: «Почему “есть” через “нет” и “нет” через “есть”?» [там же]. Вариантами ответов оказываются: креационизм, эволюционизм в традиционном понимании и эволюционизм как спонтанность. Ожидание «да» через «нет» характерно для кризисных времен в жизни индивида или общества. Один из авторов «Новой земли» – издания, в котором печатался и Клюев, высказался достаточно характерно: «Только бессильные живут прошлым. Отдаться во власть прошлого – это самое безнадежное рабство. Надо жить будущим. Жизнь требует не новых подпорок, она требует нового всемирного потопа» (цит по: [2, с. 98]).

В раннем «Завещании» выход на эшафот – выход к высшей правде, свадьба и гибель огнекрылой души. Смерть, казнь, боль, страдания переосмысляются поэтом в положительном ключе, и даже говорящий колючий куст провозглашает: «Чтоб на Божьем аналое / Сокровенное читать, / Надо тело молодое / Красным терном увенчать» [5, с. 107]. В лирике Николая Клюева перед нами оживает редкое единство человека и природы. Именно в последней он видит нечто более совершенное, чем храм или монастырь: «Природы радостный причастник, / На облака молюся я, / На мне иноческий подрясник / И монастырская скуфья. / Обету строгому неверен, / Ушел я в поле к лознякам, / Чтоб поглядеть, как мир безмерен, / Как луч скользит по

облакам» [5, с. 172]. Вопрос о предпочтении церкви или природы здесь и не ставится, понятно, что побеждает природа, но вместе с тем остается церковная одежда и молитва. Речь идет о единстве естественного и сверхъестественного, отрыв от реальности оказывается четко ограниченным. Так, последним упованием лирического героя в стихотворении «Я молился бы лику заката...», оказавшегося в каземате, является не Господь Бог, а мать, что «за пряслом решетки / ветровою свирелью поет» [там же, с. 173].

Заметим, что для крайних линий Демокрита и Платона проблема возникает на стыке мысли и материи, и они вынуждены изобретать посредствующее звено: приписывать одной способность к овеществлению, а другой – к отражению окружающего мира. Резюмируя учение Б. Спинозы в этом пункте, Э.В. Ильенков пишет: «Мышление – такое же свойство, такой же способ существования тела, как и его протяженность, то есть как его пространственная конфигурация и положение среди других тел. <...> Мышление как таковое – такая же ложная абстракция, как и пустота. На деле оно лишь свойство, предикат, атрибут того же самого тела, которому принадлежат и пространственные определения» [4, с. 29–30]. Посредствующим звеном, соединяющим крайности материи и мышления, оказывается природа, включающая в себя оба противопоставленных полюса. Понятное дело, что у идеалистов есть своя излюбленная категория Сверхсущества, как и природа, способная совместить очень многое, и спор может быть продолжен введением пантеизма, обожествлением самой природы или оприориванием Творца. Клюевский всеобъемлющий «Лес» проецируется на мифологическое дерево мира, объединяет в себе подземное, земное и небесное, этот и тот свет: «Как сладостный орган, десницею небесной / Ты вызван из земли, чтоб бури утишать, / Живым дарить покой, жильцам могилы тесной / Несбыточные сны дыханьем навевать». Но неразумные люди ополчаются и против природы, и против Бога: «Как будто в зыбях хвой рыдают серафимы, / И тяжки вздохи их и гул скорбящих крыл / О том, что Саваоф броней неуязвимой / От хищности людской тебя не оградил» [5, с. 181–182].

Но, в сущности, хищнически расточая природные богатства, люди готовят погибель самим себе, свое собственное наказание. Человек преодолевает Бога, природу, но, преодолев все это, он остается один на один со своей собственной природой, которая далека от совершенства и легко позволяет потерять компас в окружающем мире. Подытоживая логику идеалистов, П.Д. Успенский, напротив, ясным считал мышление индивида, как находящегося в нем самом, а объективный мир – «О вещах *отдельно от нас* мы ничего не знаем. И никаких других средств для проверки правильности нашего познания объективного мира *кроме ощущений у нас нет*» [11, с. 14].

Более того, в своих глубинных потенциях и природа далеко не так ясна, как зеленеющие за окном деревья, и наши ощущения поражают своей приблизительностью. Для религиозно настроенного человека видения сверхъестественного мира могут быть более убедительными, чем вся остальная житейская суэта, тогда как атеист и явное чудо истолкует самым естественным образом. В полном согласии с диалектическим законом единства и борьбы противоположностей спор может быть продолжен до бесконечности. Но стоит ли он того? Есть достаточно сильные сомнения в его плодотворности: «Приняв однажды за аксиому утверждение, что “третьего не дано”, человечество на многие века определило метод (путь) крайностей как меру своего бытия и творения. <...> В этой связи некоторые исследователи эволюционных процессов полагают, что человечество, взяв на вооружение диалектику и ее основной методологический закон единства и борьбы противоположностей, вообще заблудилось в познании и творении действительности на все последующие 2 500 лет. Высшим смыслом жизни и символом для человека и целых народов стала **борьба**, а не сама жизнь» [10, с. 77–78]. Гегель третий элемент – синтез – видел формирующимся во взаимодействии тезиса и антитезиса, то есть в результате процесса взаимодействия противоположных начал в ответе появляется не ничто, а искомое. Триалектика требует соответствия вопроса и ответа. Не двоичность, а именно троичность буквально пронизывает наш мир, достаточно вспомнить трехмерное пространство и три формы вре-

мени, охватывающие наше земное бытие, своеобразную троичность, пронизывающую религиозные системы времени,

«Быть в Море означает *быть проявленным* через *меру*. Быть проявленным – это находиться в потоке *спонтанности*. Спонтанность обращена к *геометрии*, на которой *изначально* заданы *смыслы*, существующие, будучи *непроявленными* в их несуществовании» [9, с. 78–79]. Быть для лирического героя поэзии Николая Крюкова – это означает переходить через меру, через границу жизни и смерти в обоих направлениях. Торжество могильного демона в стихотворении «Не жди зари, она погасла...» не является полным, но надежда отнесена к будущему воскресению: «Рассвета луч не обагрят / Вина в бокалах круговых, / Пока из мертвых не восстанет / Гробнице преданный Жених» [5, с. 128]. Сдвоенный смысл примерки на себя образа Христа лирическим героем совершенно очевиден. Ночь может длиться еще очень долгое время.

Общение лирического героя с другими персонажами отвечает пословице «Как аукнется, так и откликнется». Крайне показателен в этом отношении процесс общения с глухонемой девушкой. Она все-таки своим внешним обликом, самым безмолвием своим аугает его, и он соответствует этому оклику. «Пучина волос» и «мраки ресниц» заставляют предполагать нечто большее, какое-либо откровение в грозе и буре, но она оказывается еще и «слепорожденной душой», и, отвечая ей, поэт сам становится похожим на нее:

Ты только взором жжешь, как знойная пустыня,
Далекая стиха прибоем грозовым,
В песчанности твоей затерянный отныне
Я сфинксом становлюсь, жестоким и немым
[там же, с. 88]

Комплекс мотивов о вторжении мертвых в жизнь живых хорошо отражен в литературе, начиная с самых ранних этапов ее развития. В любом случае воскрешение – это обращение вспять событийного хода времени, и мертвецы в общем-то мало в чем отличны от живых. В стихотворении «Ты все келейнее и строже...» изображена девушка, потерявшая отца, жениха и сестру в событиях первой русской революции. В ее сне они вместе с деталями обстоятельств своей кончины являются в ее комнату с приходом ночи: «Лишь ста-

нут сумерки синее, / Туман окутает реку, – / Отец, с веревкою на шее, / Придет и сядет к камельку. / Жених с простреленною грудью, / Сестра, погибшая в бою, – / Все по вечернему безлюдью / Сойдутся в хижину твою». Сон этот является ложным и истинным одновременно: в комнате царит суеверье, но за дверью остается смерть:

А смерть останется за дверью,
Как ночь, загадочно темна.
И до рассвета суеверью
Ты будешь слепо предана.

Традиционно «утро вечера мудренее», и поэтому приход истины ожидается утром. Однако финал у Клюева более интересен: «И не поверишь яви зрячей, / Когда торжественно в ночи / Тебе – за боль, за подвиг плача – / Вручатся вечности ключи» [5, с. 109–110]. Все было бы в порядке, произойди вручение ключей утром, по пробуждении героини. Но если это произошло ночью, то значит, героиня не была предана суеверью до рассвета, была особая торжественная минута, когда героиня была посвящена в тайны вечности. Правда, этой «яви зрячей» она не поверила, и награда высшего знания осталась для нее бесполезной. Таким образом, здесь мы видим противоречивое взаимодействие веры и суеверия, мнимости и реальности, зрячести и слепоты. Своеобразие многозначной логики этого художественного мира в том, что противоречивые свойства не аннигилируют друг с другом, не дополняют погибельный фон изображенной реальности, а, напротив, приводят к выходу в некую высшую реальность. Однако происходит сжатие пространства до места сна героини, сжатие это сопряжено с предельным расширением времени. И этот переход пространства во время носит положительный и оптимистический характер.

Разреженность, относительная плотность и сверхплотность и сменяют друг друга в апокалиптической зарисовке «Я был в духе в день воскресный...». Лирический герой, вначале «просветленно-бестелесный / И младенчески простой», видит под собой земной мир относительной плотности «ратей колесницы, / Судный жертвенник и крест», состояние особой плотности представляет собой ангел, передающий ее герою: «Источая кровь и пламень, / Шестикрыл и многолик, / С начертаньем белый ка-

мень / Мне вручил Архистратиг». Этот посланец неба приказывает венчаться «белым твердокаменным венцом», а сам обещает превращение смерти в жизнь: «На крылах кроваво-дымных / Облечу подлунный храм / И из пепла тел невинных / Жизнь лазурную создам» [5, с. 111]. Хотя перед нами не полное воскрешение из мертвых, а переход к какой-то иной бытийной жизни, возникающей из пепла, вознесенного на небеса, но в лирическом откровении частично реализуется трехчленный мотив: жизнь – смерть – воскрешение. Конечно, у Клюева присутствует и ориентация не только на библейский текст, но и на образ пушкинского пророка, переключки с которым совершенно очевидна в финале: «Верен ангела глаголу, / Вдохновившему меня, / Я сошел к земному долу, / Полон звуков и огня» [там же]. Эта переполненность пламенем и огнем посланцев неба в художественном мире стихотворения позволяет сказать, что, хотя о второй катастрофической ипостаси огня напоминает «пепел тел невинных», молчаливо предполагается, что верховные вожди имеют лишь очистительный и освещающий дорогу огонь.

Стихотворение «Поэт» обнаруживает ряд переключек с апокалиптической зарисовкой и отбрасывает свои тени на обещание ангела создать «лазурную жизнь из пепла». Оно рисует перед нами деятельность пророка, получившего уникальный дар свыше, и представляет собой своего рода отчет героя о выполнении порученной миссии. Антитеза внутреннего и внешнего содержания здесь доведена до крайностей «Наружный я и зол и грешен, / Неосязаемый пречист, / Мной мрак полуночи кромешен, / И от меня закат лучист». Мы имеем противоречивое схождение в облике поэта противоречивых черт и свойств: греха и святости, тьмы и света. Лирический герой – личность, обладающая колоссальной мощью: «Я смехом солнечным младенца / Пустыню жизни оживлю / И жажду душ из чаши сердца / Вином певучим утолю» [там же, с. 115]. Однако это всего лишь – иллюзия. Обещание не претворилось в дело: «Так на рассвете вдохновенья / В слепом безумье грезил я, / И вот предтечею забвенья шипит могильная змея» [там же, с. 116]. Таким образом, циклического преобразования смерти в жизнь здесь не происходит. И логика Лукасевича с

ее неопределенным будущим временем сменяется логикой Гейтинга, где неопределенность раскрывается как ложное положение вещей и явлений.

Неизбежная и, конечно, отрицательная смерть в ряде случаев трактуется поэтом как всего лишь переход в другую сферу бытия: «Мне сказали, что ты умерла / Заодно с золотым листопадом / И теперь, лучезарно светла, / Правишь горним, неведомым градом». Проявление близкого человека в земном и ведомом мире ощутимо, оно отрицает общее мнение об ушедшем человеке как о переставшем быть: «Говорят, что не стало тебя, / Но любви иссякаемы ль струи: / Разве зори – не ласка твоя, / И лучи – не твои поцелуи?» [5, с. 152].

То же и в пространственном отношении: «Я за гранью, я в просторе / Изумрудно-голубом, / И не знаю, степь или море / Расплеснулось кругом» [там же, с. 126]. Таково же, впрочем, и прошлое мира, данное как схождение крайностей: «В старинных зеркалах живет красавиц рой, / Но смерти виден лик в их омотах зовущих» [там же, с. 88]. Двумерное отражение наделяется полноценной жизнью, а приобретаемая третья дополнительная измерение – глубину омота, – превращается в лик смерти.

Обратный ход времени запечатлен в «Старухе». Обиженная всеми, попрекаемая сыном и невесткой, героиня думает о смерти: «Чую – на кладбище колокол ухает, / Ладаном тянет с вершин». Однако в окружающем мире старуха улавливает и другое омолаживающее настроение. Одежда, внешняя оболочка обнаруживают схожесть с самой природой и молодят героиню: «Верба-невеста, молодка пригожая, / Зеленью-платом не засти зари; / Аль с алоцветной красою не схожа я – / Косы желтее, чем бус янтари» [там же, с. 171].

В стихотворении «Спят косогор и река...», датированном 1911 годом, обращают на себя внимание строчки: «Шолом избы, как челнок, / В заводи смерти глядится». Отражение дома, стоящего близ воды, действительно дается верхней его частью, но наблюдать это отражение ночью – практически безнадежное дело. Поэтому можно сказать, что «заводь смерти» наделяется особыми свойствами. Происходит трансформация ночного мотылька в ангела «с райскою ветвью в деснице», который и внушает лирическому герою: «Был

ты, и будешь, и есть – смерти вовек непричастный» [5, с. 150]. Эту верность всем временам сразу, бессмертье посмертного существования поэт пронес через всю жизнь. В стихотворении, написанном в погребальном 1937 году, он пишет о том, как между тюрьмой и Больницей потерял свою клюку, свой посох странника. Заглядывая в окошко к гробовщику – характерное место отдыха, – лирический герой застаёт там тетушку Могилу, ткущую саван следующему на тот свет. Оказывается, этим очередником является сам поэт: «В вершинах пляска ветродуев, / Под хрип волчицыной трубы / Читаю нити: “Н.А. Клюев – / Поэт олонецкой избы!”» [там же, с. 632]. Лирический герой вспоминает койку, доброго врача, надеясь задержаться на этом свете, но оказывается он уже в другом мире: «Вот почему в кувшине розы, / И сам ты – мальчик в синем льне! / Скрипят житейские обозы / В далекой брэнной стороне» [там же]. Здесь раскрытие неопределенности не означает, как у Блока в его знаменитом стихотворении-цикле «Ночь, улица, фонарь, аптека...», возвращения к прежнему миру. Напротив, путь в прежнюю жизнь запрещен, зато в потустороннем мире обретается высшая истина: «К ним нет возвратного проселка, / Там мрак, изгнание, Нарым. / Не бойся савана и волка, – / За ними с лютней серафим!». Финальное торжество странника – это отделение сердца от брэнного тела: «И сердце птичкой из груди / Перепорхнуло в кушину» [там же].

В «Утонувших в океанах...» поэт прибегает к обычному сравнению человеческой жизни с кораблем, плывущим в океане. Сначала утверждается, что утонувшие «не восходят до облаков», хотя «в подземных, пламенных странах» «огневейно крылаты они». Поминальный обряд – это своего рода необходимая подготовка к переходу от смерти к жизни: «Не напрасны пшеница с медом – / В них услада жизни земной: / Мы умрем. Но воскреснем с народом, / Как зерно, под Господней сохой» [там же, с. 316]. Финал стихотворения – надежда на возможность пути из подземных стран к небесам. Финал фактически опровергает заявленный в начале стихотворения тезис. Осмысление поэтической традиции Н.М. Языкова в лирике Клюева и сопоставление одноименных «Пловцов» обо-

их авторов было проведено Э.Б. Мекшем. Исследователь заметил, что если лирический герой Языкова выступает «от лица социума», от лица общества, которое он думает увлечь своим примером, то у Клюева мы видим «героя-одиночку», стремящегося «достигнуть намеченной цели по модели романтической культуры» [8, с. 158].

Наиболее значительным расхождением в образной структуре обоих миров представляется нам то, что в эпоху почти всеобщей религиозности языковский лирический субъект не вспоминает о Боге, а подсобную силу видит только в волнах, которые в желанную страну выносят «только сильного душой» [15, с. 241]. Таким образом, неопределенность положения языковского пловца оборачивается уверенностью в достижении конечной цели. Клюевскому герою, напротив, сопутствует Господь, развеивает «сумрак непогодный», дарует ясновидение желанной страны, но герой находится во враждебной среде и «сон угас, как зори мая, / Надводным холодом дыша». Однако нельзя сказать, что в художественном мире клюевского пловца воцаряется беспросветность. Снова возникает сон, теперь уже сон души, где «Как будто в сумраке далече, / За гранью стынувшей зари, / Пловцу отважному навстречу / Идут пророки и цари» [5, с. 108]. Таким образом, сон приобретает повторяемость, неопределенность сохраняется, но это лишь сон. И даже во сне клюевского пловца нельзя назвать отважным. Он ищет помощи со стороны и, возможно, дождется, как герой «Горькой судьбины», застигнутый бурей на Онежском озере вместе с тридцатью богомольцами: «Ветер — шелоник ледовитый о ту пору сходился. Подпарусник волны сорвали... Плакали мы, что смерть пошла... Уже Клименицы в глазах синели, плескали сиговой ухой и устойным квасом по ветру, но наша ладья захлебывалась продольной волной...

“Поставь парус ребром! Пустите меня к рулю!” — за велегласной исповедью друг другу во грезах памятен голос... Ладья круто повернула поперек волны, и не прошло с час, как с Клименецкого затона вскричала нам встречу сивая водяница гагара... Голосник был — захваленный ныне гагарий погонщик — Григорий Ефимович Распутин» [6, с. 540]. Как видим, крепко привязанным к жизни, сохраняющим

разум и здравый смысл, оказывается один из абсурдных героев русской истории. Все остальные исповедуются в грехах и плачут, занятие допустимое, но бесполезное в данную минуту. Между тем и здесь жизнь смыкается со смертью. Ветер, гонящий богомольцев к гибели, пахнет ухой и квасом. Е.И. Маркова с опорой на В.Я. Проппа справедливо сравнивает это плавание со сказочной переправой в иное царство, имеющее определенные черты царства мертвых, причем «в роли фольклорно-сказочного вожатого и мифического шамана выступает защитник истинного православия Григорий Распутин» [7, с. 276]. Но одна из задач проводника не только привести, но и вывести из этого заколдованного царства. В «Сказке о Иване-царевиче и сером волке», например, волк уже и в родном царстве Ивана-царевича не считает свою задачу выполненной, пока не оживит его путем сбрызгивания живой и мертвой водой. Здравый фольклорный смысл, всегда ценящий здоровье и жизнь, выступает здесь со всей очевидностью в запахе ухи и кваса, и он, очевидно, против того, чтобы люди уходили с радостью хоть в сакральное, но все-таки небытие. Этим плачущие богомольцы, кающиеся в грехах, все-таки отличаются от тех «10 000 заонежских мужиков», которые «за истинный крест да красоту молебную сами себя посреди Палеострова спалили». Да не красота это вовсе, а трагедия, абсурд с русской дуростью пополам. Клюев об этом, конечно, не скажет. Напротив, утешит: «на их костях звон цветет, шумит Неопалимое древо» [6, с. 540]. Но заметим, на Палеостров заезжают те, «кому надо», а в «Клименицы богомолье держат», и то, что люди все-таки доплыли до этих Климениц, означает, что они достигли цели своего путешествия. Однако, как полагает Н.А. Криничная, приглашенные в Китеж не обрели полной уверенности и «не смогли без колебаний преодолеть рубеж, отделяющий земное бытие от сакрального небытия» (цит. по: [7, с. 277]). Ну и ну! Дело не всегда прочно, «когда под ним струится кровь»... Клюев все-таки чувствовал, что и *сакральное небытие* не всегда угодно Богу, а уж добровольно принятый уход из жизни — тем более, поэтому смерть для его лирического героя не только просветление, но и ужас. Возникающее колебание перед Ничто вполне человечно и никакой святостью не оправдывает-

ся. Бинарная оппозиция в данной конкретной ситуации *несвятость – святость* в сцеплении с оппозицией *жизнь – смерть* обнаруживает свою недостаточность и бесчеловечность. Двойная логика «обязана своей достоверностью наблюдаемому эмпирическому закону сравнительной неизменности существующих вне нас вещей» [14, с. 116]. Переход к многозначной логике в экзистенциальные моменты бытия оправдывается тем, что как раз именно им присуща быстрая смена декораций окружающей действительности и ее оценок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азадовский, К. Николай Клюев. Путь поэта / К. Азадовский. – Л.: Сов. писатель, 1990. – 336 с.
2. Базанов, В. Г. С родного берега: о поэзии Николая Клюева / В. Г. Базанов. – Л.: Наука, 1990. – 244 с.
3. Воронин, В. С. Логико-математические методы в истории и литературоведении / В. С. Воронин. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009 – 360 с.
4. Ильенков, Э. В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории / Э. В. Ильенков. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1984. – 320 с.
5. Клюев, Н. А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – 1072 с.
6. Клюев, Н. А. Избранное / Н. А. Клюев. – М., 2008. – 592 с.
7. Маркова, Е. И. Родословие Николая Клюева. Тексты. Интерпретации. Контексты / Е. И. Маркова. – Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2009. – 354 с.
8. Мекш, Э. Б. Коллизия «море – пловец – берег» в лирике Николая Клюева (языковский контекст) / Э. Б. Мекш // XXI век на пути к Клюеву. – Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2006. – С. 153–166.
9. Налимов, В. В. Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье / В. В. Налимов. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 344 с.
10. Сергиенко, П. Я. Триалектика. О мерах мудрости и мудрости мер / П. Я. Сергиенко. – Пушкино: ОНТИ ПНЦ, 2001. – 84 с.
11. Успенский, П. Д. TERTIUM ORGANUM. Ключ к загадкам мира / П. Д. Успенский. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2000. – 688 с.
12. Уилер, Дж. Предвидение Эйнштейна / Дж. Уилер. – М.: Мир, 2000. – 112 с.
13. Чанышев, А. Н. Философия Древнего мира / А. Н. Чанышев. – М.: Высш. шк., 2001. – 703 с.
14. Шестов, Л. Апофеоз беспочвенности / Л. Шестов. – М.: АСТ, 2004. – 221 с.
15. Языков, Н. М. Стихотворения и поэмы / Н. М. Языков. – Л.: Сов. писатель, 1988. – 592 с.

THREEALECTICS, LAWS OF FANTASY AND LOGICAL SYSTEMS
IN KLYUEV'S POETRY

V.S. Voronin

The Article is dedicated to consideration of the models of the ambiguous logic in lyric poetry N.A. Klyuev. They Are Considered different types of the negation uncertainty and interactions of the oppositions, corresponding to different logical system. It Is Shown correspondence to of the artistic picture of the world threalectics image space – a world – a motion.

Key words: *laws of fantasy, uncertainty, ambiguous logical systems, threalectics, equation of the oppositions.*